

**АНДРЕЙ БИТОВ
МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ
РОМАН СЕНЧИН
ВАДИМ ЛЕВЕНТАЛЬ**

И ДРУГИЕ



42 РАССКАЗА О КРЫМЕ

Составитель: Ирина Горюнова



МОСКВА
2015

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К85

Составитель *Ирина Горюнова*

Художественное оформление *Сергея Власова*

К85 **Крым**, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме : [сборник рассказов] / А. Битов, М. Елизаров, Р. Сенчин, В. Левенталь и др. Сост. Ирина Горюнова. — Москва : Эксмо, 2015. — 544 с. — (Мастера прозы).

ISBN 978-5-699-81889-1

Перед вами — большая книга отличной прозы, так или иначе связанной с Крымом. 36 современных писателей — Андрей Битов и Роман Сенчин, Михаил Елизаров и Вадим Левенталь, Елена Крюкова и Даниэль Орлов, Платон Беседин, Фарид Нагим и другие — говорят с нами о странностях любви, о противостоянии смерти, о красоте и абсурде, о спасительной иронии и милосердии. 42 рассказа, написанных в Москве и Петербурге, Киеве и Нью-Йорке, Хельсинки, Торонто, Ялте, о том, что, безусловно, сегодня касается всех нас.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-81889-1

© Битов А., Елизаров М., Сенчин Р.,
Левенталь В. и др., текст, 2015
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Битов. Крым-1946. Как я провел лето	5
Михаил Елизаров. Зной	8
Паяцы	35
И на третий день пошел знакомиться.....	41
Выбрался к морю.....	47
Роман Сенчин. Морская соль	52
Вадим Левенталь. Император в изгнании	68
Даниэль Орлов. Колокол на берегу	85
Елена Крюкова. Зодиак	105
Фарид Нагим. Швы жизни	112
Встреча в октябре	128
Вячеслав Харченко. Коктебельские истории	150
Платон Беседин. Последняя крепость	170
Людмила Коль. Роза	190
Александр Грановский. Анжелюс	200
Линза	213
Убешщур	228
Анастасия Комарова. «Дикари»	241
Яна Амис. Крымский пейзаж на счастье	264
Геннадий Шалюгин. Спящая почка	279
Роман Волков. Крымская колыбельная	304

Александр Евсюков. Караим	317
Марина Йоргенсен. Икрымырим	330
Валерий Бочков. Сотворение мира	341
Алиса Поникаровская. Десять и один день в Коктебеле	348
Александра Фомина. Что-то, связанное с тобой	366
Ирина Шухаева. Разное солнце	377
Ирина Говоруха. Танго	381
Артемий Ульянов. Побег для двоих	396
Мария Ануфриева. Стерва	408
Владимир Гуга. Субтропики	423
Ольга Яворская. Мидии, устрицы и шайтан	445
Сания Шавалиева. Игры с рыбой	451
Андроник Романов. Глубина	458
Александр Ткаченко. Тайна Ребе	471
Ирина Горюнова. Фаина	475
Андрей Коровин. Крымские сновидения	481
Евгений Степанов. Школьники из Евпатории	495
Андрей Явный. Крым	501
Максим Шмырев. Дороги с птицами на проводах	504
Олег Рябов. Фонтан в горах	523
Татьяна Успенская (Ошанина). Мой Коктебель	531

АНДРЕЙ БИТОВ

Крым-1946. Как я провел лето

(Сочинение девятилетнего советского писателя)

Был такой стран СССР. Он победил войну.

Было четыре города-героя (еще до Победы): Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь. Ленинград, где холодно, Севастополь, где тепло.

Где тепло, я уже знал: в Ташкенте, городе хлебном. Память моя начинается с четырех лет, и это Путешествие: 22 июня 1941 года, Любытино на Псковщине — сентябрь 1941-го, Ленинград, Блокада; март 1942-го, «Дорога жизни» — эвакуация в Ревду, на Урал, к отцу (из голода и холода в холод и голод); лето 1943-го — в Ташкент, к бабушке; сентябрь 1944 года — Ленинград, школа, 1-й класс и Победа!

И вот второе, другое путешествие. Мать год копила и накопила: отвезти мои гланды к морю. Все впервые! Мать шикует: до Москвы поездом, от Москвы самолетом. В Москве берет такси и показывает мне Красную площадь и музей подарков Сталину. Рассматриваю в микроскоп рисовое зернышко — благодарственное письмо китайца. Иероглифы крупнее зерна.

Летим. Может быть, на «Дугласе». Пассажиров немного, может быть, столько же, сколько помещалось бомб. Посадка в Киеве. Мама опять успевает взять

такси и показать мне Владимирскую Горку и памятник князю Владимиру. Ей очень нравится и памятник, и открывающийся вид. Мне запомнилась рука с крестом. Я уже так устал, что не помню, как долетели до Крыма, как добрались до Ялты. Ходил ли тогда этот длинный троллейбус?

Был еще май — все тепло, зелено и цвело. Жили мы в санатории, и я влюбился во взрослую девушку, норовил встретить ее на дорожке, прикидывал в уме, сколько ей будет через десять лет, когда мне можно будет на ней жениться. Ловил майских жуков на шиповнике, заточал в спичечный коробок. В целом, тот же Ташкент, если бы не море.

Море — не то слово! Его много, но плавать я еще не умел, и мне достается лишь отмель. В море плавали стайки морских коньков, шахматные фигурки. Я их тоже ловил, прямо рукой, и заточал в банку с морской водой. Значит, экологии было еще больше, чем зоологии (потому что слова такого не было). Но еще больше моря мне нравилось обсыхать на солнце, ворочаться с боку на бок, обнаруживая недоступные части голой кожи, «играть в шашлычника». Вместо шашлыка мама покупала черешню, косточками было забавно стрелять из пальцев, стараясь не попасть в загорающих.

Вот вам и все море. Интереснее было ходить смотреть на пленных немцев, работавших за проволокой рядом с санаторием. Первый немец, которого я разглядел, попросил у меня папиросу и, хотя у меня ее не было, подарил мне настоящий фашистский пфенниг тусклого металла. Наверно, скучал по своим детям.

После обеда, когда на море становилось жарко, мама гуляла со мной по городу, но это было не так интересно: все домики заслонены зеленью и ничего не разглядишь.

Но однажды мама решила заглянуть внутрь. Она долго скреблась в калитку, нажимала звонок. Наконец вышла старушка, чем-то напоминавшая мою бабушку. Старушка говорила, что еще не сезон, профилактика. Мама убеждала ее, что-то про гимназию, консерваторию, ученицу Глазунова... то есть опять же про бабушку, о чем-то дореволюционном. Старушка вздохнула

и впустила. Мы пили чай на веранде. На дорожку выползла черепашка, отвлекла мое внимание, и я не вник в беседу об Антоше, которую вела хозяйка Мария Павловна. Наверно так звали черепашку.

Так я впервые побывал в домике Антона Павловича Чехова и познакомился с его сестрой.

Во второй раз я оказался в Ялте уже в 1967 году с женой Ингой Петкевич в Доме творчества советских писателей, уже автором трех книжек. Мы соседствовали и общались со столь разными личностями, как Виктор Некрасов и Вениамин Каверин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц и реэмигрант Александр Казем-Бек.

Иосиф Хейфиц жаловался мне как молодому сценаристу, что хороших сценариев больше нет, я, восхищавшийся в ту пору Чеховым, возражал: «Как же нет! Возьмите любую повесть Чехова. «Дуэль» — готовый сценарий, куда там Антониони...» «Не дают! — вздыхал Хейфиц. — Я уже сколько лет кружу над «Дуэлью»...»

С ним как с творцом «Дамы с собачкой» я оказался в домике Чехова как сознательный посетитель. Перед ним распахивались все двери. Но это был уже не тот домик 1946-го!

Я ничего не узнал. Ни тебе черепашки, ни Марьи Павловны. «Уже старушки нет...»

Только книжка пасьянсов на прикроватной тумбочке и отрывной календарь с датой 27 мая. Но Хейфиц успел-таки исполнить мечту и снять прекрасный фильм по «Дуэли».

Коктебель был в моде у совписов, но я так в него и не попал. Лишь в 1996 году впервые.

*Бог красил небо, встав на Карадаг,
И капли капали с его усталой кисти:
Опал и сердолик, хрусталь, агат...
Как недодуманные мысли.*

Но камушки все были уже подобраны.

2 июня 2015, 110-летие моей мамы

МИХАИЛ ЕЛИЗАРОВ

Зной

*Три вещи поразили меня в жизни —
дальняя дорога в скромном русском поле,
ветер и любовь.*

А. Платонов

Словно бы псы господни затравили ангела — такой был в тот вечер немислимый закат. В виноградной небесной зелени клочья воспаленного пурпура мешались с фиолетовыми внутренностями, с карамельными тонами растерзанной ангельской плоти, а два огромных пепельных облака казались оторванными крыльями.

Вязкий асфальт сочился битумной смолой, ее можно было зачерпнуть ладонью и превратить в поделочный материал. Я лепил, одного за другим, маленьких покатых истуканов и ставил на каменные перила набережной. Внизу когда-то протекала харьковская Лопань, а теперь вместо мокрого тела реки в обезвоженном гранитном каньоне догнивал исполинский червь.

У меня имелся выкидной нож с тонким блестящим клинком, кустарная безделица из мест несвободы. Острием я прочерчивал глаза и рты смоляным божкам. Пару часов назад этим же ловким ножом в чужой квартире я вырезал поголовье плюшевого зверинца. Умильный игрушечный хлам, нищие мои дары — медвежонок, котик, тигренок...

А до того разгромил спальню: обрушил шкаф — он раскололся, точно был глиняным, — и выломал спинку кровати. У почтенного двухспального животного от моего бесчинства подломились задние ноги. Бедная подруженька — ни жива ни мертва — лежала на склоне матрасного холма и во все глаза смотрела, как я орудую ножом — пилю головы куклам.

Я восклицал, что люблю ее, что хочу жениться — у меня хватало совести на сватовство. Я осквернил чужое жилище, перепугал женского ребенка своим буйством. Ей было всего восемнадцать лет, она собиралась поступать в консерваторию, голосистая девочка.

В то время я еще не научился быть практичным двоежнецом, не держал запаса. Смазливая певунья хотела вступить в студенческую жизнь свободной. Она и в дом меня пустила, надеясь, что это будет последний раз. Он состоялся, последний, а потом, вместо того чтобы уйти, я дал волю рукам.

Я любовался собой, лицедействующим оперное страдание. Крушил, грозил, членил и умолял. Под занавес я повторно справил «последний раз» — любимая дрожала и хныкала — и бежал прочь.

Несколько часов меня носило по городу. Я никогда еще не был так счастлив несчастьем. Это было торжество полноценности — неужели я способен любить и страдать?! До того я бывал только возбужден или равнодушен.

Я утомился возле вымершей гнилой реки, где наблюдал удивительный, похожий на убийство, закат. С перил на засуху пялились битумные человечки, черные пешки моего отчаяния. Трех я подарил мертвой реке, а четвертого истуканчика забрал с собой. Он получился по-первобытному страшным — тусклый потусторонний увалень.

В сумерках я вернулся домой. Возле подъезда меня поджидали — певунья и ее взволнованно дышащая мать. Я пригласил их. В квартире поспешно разрыдался, чем обезоружил.

Они тоже заплакали. Певческая мать спросила:

— Где тут телефон? С вами хочет поговорить наш папа...

Набрала номер и передала мне трубку.

— Жили люди, — сказал понурый мужской голос. — Не бедно, не богато. Но однажды пришел чужой человек и все сломал... — Он замолчал, точно обессилел.

Я отвечал:

— Простите меня. Я почию...

И сдержал слово. За пятьдесят долларов — солидные деньги для девяносто пятого украинского года — я нанял умельца с мебельной фабрики. Привел к дверям поруганной квартиры. Спустившись на этаж, дождался, чтоб его впустили. И лишь тогда убрался восвояси.

Харьков еще два дня был удушливым и пыльным, как степь после табуна. Но вскоре разразился циклопический невиданный ливень. Будто небо обратилось в океан и всей тяжестью пролилось на землю. Стихия застала меня врасплох, я укрылся под разлапистым каштаном, но за какую-то минуту визжащие, как пули, капли изрешетили крепкую июньскую листву. Дышать получалось только наклонив голову — иначе вода заливала нос и горло. Уже через полтора часа всякий брод был по пояс. Цветными кочками возвышались легковые крыши затопленных машин. Наземные трамваи стали речными. Над канализационными стоками кружили мусор медленные воронки. Входы в метро напоминали мраморные купели с уходящими в глубину ступенями. Харьков погружался, исчезал, как Китеж.

Ливень так же внезапно иссяк. За ночь большая вода схлынула, оставив на улицах болотную тину, напоминающую лягушачью кожу. Наутро в новостях сообщили, что погода разрушила очистительные сооружения, отверзла ядовитые отстойники. Водопровод, захлебнувшись нечистотами, умер. Краны еще до полудня харкали ржавчиной, а потом и ее не стало.

Вернулась городская жара. Снова вместо воздуха плавился горячий, разбавленный выхлопным бензи-

ном, штиль. Обезвоженный Харьков больше не вмещал моих сердечных терзаний. Я готовился к побегу в Крым. Там в одиночестве я рассчитывал изнурить, избыть неповоротливую любовь.

Все мое существо источало болезненный символизм. К чему бы я ни прикасался рукой или мыслью, все обретало дополнительный декадентский смысл. Мне было тогда двадцать два наивных года. Маленькая певица представлялась безвременно отлетевшей юностью, а харьковский потоп подводил черту под прошлым. Обновленный, я собирался ступить на будущий Арарат, и плацкартный втридорога билет до Феодосии был голубиной оливковой ветвью.

Я положился на дорогу, как на судьбу. Словно мертвецкую ладью — так снаряжал я мой походный рюкзак. Основными загробными предметами. В путь отправлялись святыни моего детства, не покидавшие порог нашего дома уже несколько десятилетий.

Я брал дедовскую флягу — окопный трофей сорок второго года. Алюминиевый сосуд в зеленом войлочном чехле, похожем на гимнастерку. Солдатский наряд фляги источал запах седла и юрты, пороха и пота. Раньше я частенько вытаскивал флягу из чехла, с умилением изучал голое мягкое тело в мельчайших древних трещинках. Фляга обладала Христовой способностью обращать любую воду в питье. Всякой жидкости она сообщала свой неповторимый железно-сладкий привкус.

Я уложил шашку, когда-то сломанную и укороченную прадедом на две трети. Эта сокращенная шашка некоторое время служила ему садовым ножом, а потом оказалась на полке в шкафу и стала семейным экспонатом. За годы острота сошла. Мне без опаски выдавали шашку для домашних игр — в детские годы она была моим богатырским кладенцом...

Я полдня провозился с точильным камнем, чтобы вернуть шашке хоть какой-то рез. Потом отчаялся и решил, что для членения продуктов подойдет другой

нож — тоже прадедовский. Швейцарский, складной. По легенде, прадед использовал его в окопе вместо бритвы — небольшой, почерневший от времени клинок легко доводился до хирургической остроты на ободке чашки или блюдца. С одной стороны рукояти перламутровая накладка выпала, быть может, полвека назад. Вторая половина все еще мерцала зеленым мушиным блеском.

Я прихватил чернильное перо, которое отец в студенческие годы умыкнул на почте в уральском захолустье. Деревянный стержень сургучного цвета и черный железный коготь на нем. К перу я специально докупил пузырек с фиолетовыми чернилами. Из общей тетради выкроил грубоватый блокнот. Записи в нем должны были производиться исключительно почтовым пером — мне виделся в этом особый, пронзительный эстетизм.

Для отсчета времени я взял карманные часы — тоже фамильные, из тусклого тяжелого серебра. Стекло в них разбилось вечность тому назад, но механизм прилежно работал. Чтобы уберечь его от соленой влажности, я завернул часы в полиэтиленовый пакетик.

Я собирался обходиться минимумом вещей. На случай ночевки под открытым небом — я предусматривал и такой цыганский вариант — у меня имелся надувной матрас. Добротный, советский, из прочной ткани.

Как я себе это воображал? Приблизительно так: шашкой смахнул четыре худых саженца, воткнул их в землю, натянул парусину — вот и навес. В кастрюльке размером с пригоршню (для идеальной картины не хватало армейского котелка, а еще лучше немецкой каски — вот в чем бы суп варить!) приготовил незамысловатую еду...

Я накопил мешок всякой быстро-дряни, тушенки и палку колбасы, твердую, как ножка табуретки. В духовке засушил сухарей из буханки бородинского и ссыпал в холщовый мешочек.

В рюкзак добавились пара дряхлых футболок — принципиально ни одной парадной, — плавки, шорты и два полотенца. И он все равно оказался набитым и тяжелым, минималистский рюкзак.

Чтобы со мной попрощаться, отлучились с садового участка родители. Обычно летом они прикованными арестантами отсиживались в деревне.

Я не огорчал их обстоятельствами отъезда, не просил денег. Просто сказал, что уезжаю отдохнуть. Увы, треть моих сбережений ушла на воскрешение шкафа и кровати. Но и сотни долларов, по скрупулезным расчетам, мне должно было хватить до августа.

Феодосийский поезд отправлялся в шесть вечера. Я брел пешком к вокзалу и впивался змеиным взглядом в наизусть изученные улицы, зная, что больше никогда не буду таким пристальным и несчастным.

На мне была фиолетовая футболка без рукавов, ветхие джинсы, уже не черные, а серые от стирок. На ногах хоженные годовалые кеды. Так я представлял себе костюм безутешного странника.

На вокзале я задумался, почему мне не особо удалось пронзительный прощальный взгляд на город, и сообразил, что позабыл дома очки. Тогда я мог еще оставить очки и не сразу это заметить — практичная индиана-джонсовская близорукость, позволявшая при случае обходиться без оптических увеличительных подсказок. Я решил, что так даже лучше — буду смотреть на мир честными глазами.

Ближнее плацкартное купе заняли челноки. Весь вагон был бледен, а эти двое уже потемнели до рыжего муравьиного цвета. Везли бесчисленные упаковки с кока-колой, спрайтом, фантой, баночным пивом. Опаздывали с погрузкой, носились по вагону, жилистые и быстрые, таскали запаянные в коконы напитки, будто из огня спасали. Липкие пассажиры, скользкие и белые, как личинки, ворчали: зачем вам столько, заняли чужое место, куда смотрит проводник?

Я вздумал помочь, приспособил для охалки руки. Подхватил на перроне сразу четыре пластиковых батареи — шестьдесят литров.

Буквально в последнюю минуту успели погрузиться. Рыжие благодарно меня угостили пивом — вспомнить бы, каким? Открытое, оно пролилось из жестянки на пол пенными морскими барашками.

Челноку помладше нравилось экспрессивное слово: «мудянка». Он осаживал недовольных соседей: «Рты позакрывали! Развели мудянку!»

К своему напарнику он обращался: «Циглер».

Я так их про себя и называл: Мудянка, Циглер...

Духота усилила резкие запахи дороги. Нагретые полки мироточили железнодорожным смальцем, густым, черным, как деготь.

От трех банок пива я захмелел и разговорился. Зачем-то сочинил, что накануне развелся. Коварную певунью выставил злодейкой-женой, прибавил жилищной заячьей драмы — как меня прогнали из моей лубяной двухкомнатной избушки.

Участливые челноки, прислонившись друг к другу, по-муравьиному пошущукались усиками. Позвали в компанию: не унывай, работай с нами, парень ты крепкий, будем возить жидкости, до сентября поднимешь три сотни баксов.

В Феодосии их ждала машина до поселка Краснокаменка. Туда они везли свой товар, купленный по дешевке на оптовом рынке.

Я отказался, мне не хотелось грузовой туда-сюда истории длиной в два месяца. Я лишь стремился в тихую пустыньку с видом на волны. Вероятно, Краснокаменка и была таким уголком...

Расстроили. Краснокаменка оказалась горным захолустьем, до моря двадцать километров. Я позабыл, что населенные пункты в Крыму не обязательно находятся на побережье.

Мудянка поинтересовался, где бывал я раньше. Неужели только в Ялте да Алуште? А как же Судак и Новый Свет — красивейшие места?

Дорога на Краснокаменку пролежала мимо Коктебеля. Быть может, это и есть знак providения: коктейльский берег, усадьба кудлатого Волошина?

Поезд разогнался, чуть остудился на ветру. По вагону на цыпочках крались сквозняки. За окнами стелился душный вечер.

С Мудянкой и Циглером я разделил позднюю бутербродную трапезу. Чай выступил на теле жарким потом, точно выпитый стакан я выхлестнул себе за шиворот.

Остались позади сумеречные Запорожье и звездный Мелитополь. Не спалось до Джанкоя. Я на минуту сомкнул глаза, а когда открыл, уже была станция Айвазовская. Ночь развиднелась куцей песчаной полосой пляжа и морем — серым, дымчатым, словно его прикрыли тонированным стеклом. Поезд прибыл в ранние пять утра.

Феодосийский вокзал напоминал обедневшую помещичью усадьбу. Над составами и тополями торчали желтые стрелы портовых кранов. Мы выгрузились. Мудянка ушел искать тележку и пропал. Шумный перрон быстро обезлюдел, на свежий сор набежали горлицы, похожие на нищенок.

Грохоча транспортным имуществом, появился вокзальный грузчик — дедок-татарин в засаленных служебных штанах. Жилистое туловище было карим от загара. Я и Циглер погрузили на железный поддон упаковки. Тележка лязгала, будто везла якорные цепи.

Мы выкатились на пустую вокзальную площадь. Справа на каменном кубе возвышался по-осеннему одетый Ленин — в пальто и кепке, весь в белых птичьих кляксах.

Наша машина опаздывала. Поодаль дремал в распахнутой «Волге» оставшийся без дела таксист — вы-